

## ИСТОРИЯ МОЕЙ ГОЛУБЯТНИ

М. Горькому

В детстве я очень хотел иметь голубятню. Во всю жизнь у меня не было желания сильнее. Мне было девять лет, когда отец посулил дать денег на покупку тесу и трех пар голубей. Тогда шел тысяча девятьсот четвертый год. Я готовился к экзамену в подготовительный класс Николаевской гимназии. Родные мои жили в городе Николаеве, Херсонской губернии. Этой губернии больше нет, наш город отошел к Одесскому району. Мне было девять лет всего, и я боялся экзаменов. Теперь, после двух десятилетий, очень трудно сказать, как ужасно я их боялся\*. По обоим предметам — по русскому и по арифметике — мне нельзя было получить меньше пяти. Процентная норма была трудна в нашей гимназии, всего пять процентов. Из сорока мальчиков только два еврея могли поступить в подготовительный класс. Учителя спрашивали этих мальчиков хитро: никого больше не спрашивали так замысловато, как нас. Поэтому отец, обещая купить голубей, требовал двух пятерок с крестами. Он совсем истерзал меня, я впал в нескончаемый странный сон наяву, в длинный детский сон отчаяния, и пошел на экзамен в этом сне и все же выдержал лучше других.

Я был способен к наукам. Учителя, хоть они и хитрили, не могли отнять у меня ума и жадной памяти. Я был способен к наукам и получил две пятерки. Но потом все изменилось. Харитон Эфрусси, торговец хлебом, экспортировавший пшеницу в Марсель, дал за своего сына взятку в пятьсот рублей, мне поставили пять с минусом вместо пяти, и тогда по закону приняли маленького Эфрусси. Отец мой очень убивался тогда. С шести лет он обучал меня всем наукам, каким только можно было. Случай с минусом

## THE STORY OF MY DOVECOT

To M. GORKY

When I was a kid I longed for a dovecot. Never in all my life have I wanted a thing more. But not till I was nine did father promise the wherewithal to buy the wood to make one and three pairs of pigeons to stock it with. It was then 1904, and I was studying for the entrance exam to the preparatory class of the secondary school at Nikolayev in the Province of Kherson, where my people were at that time living. This province of course no longer exists, and our town has been incorporated in the Odessa Region.

I was only nine, and I was scared stiff of the exams. In both subjects, Russian language and arithmetic, I couldn't afford to get less than top marks. At our secondary school the *numerus clausus* was stiff: a mere five per cent. So that out of forty boys only two that were Jews could get into the preparatory class. The teachers used to put cunning questions to Jewish boys; no one else was asked such devilish questions. So when father promised to buy the pigeons he demanded top marks with distinction in both subjects. He absolutely tortured me to death. I fell into a state of permanent daydream, into an endless, despairing, childish reverie. I went to the exam deep in this dream, and nevertheless did better than everybody else.

I had a knack for book-learning. Even though they asked cunning questions, the teachers could not rob me of my intelligence and my avid memory. I was good at learning, and got top marks in both subjects. But then everything went wrong. Khariton Efrussi, the corn-dealer who exported wheat to Marseille, slipped someone a 500-ruble bribe. My mark was changed from A to A minus, and Efrussi Junior went to the secondary school instead of me. Father took it very badly. From the time I was six he had been cramming me with every scrap of learning he could, and that A minus drove him to despair. He wanted to beat Efrussi up, or at least bribe two

привел его к отчаянию\*. Он хотел побить Эфрусси или подослать двух человек с рынка\*, чтобы они побили Эфрусси, но мать отговорила его от дурных мыслей, и я стал готовиться к другому экзамену, в будущем году, в первый класс. У меня за спиной родные подбили учителя, чтобы он в один год прошел со мною курс preparatory и первого классов сразу, и так как мы во всем отчаивались, то я выучил наизусть три книги. Эти книги были: грамматика Смирновского, задачник Евтушенского и учебник начальной русской истории Пуцковича. По этим книгам дети не учатся больше, но я выучил их наизусть, от строки до строки, и в следующем году на экзамене из русского языка получил у учителя Караваяева недостижимые пять с крестом. Небольшой наш город долго шептался о необыкновенной моей удаче, и отец был так жалко гордею, что мне переносимо становилось думать о суетливой, переменчивой его жизни и о том, что он поддается так бесильно всем переменам и только радуется на них или слабеет.

Учитель Караваяев был по мне лучше отца\*. Караваяев был румяный негодующий человек из московских студентов. Ему едва ли исполнилось тридцать лет. На мужественных его щеках швел румянец, как у крестьянских ребят, не работающих тяжелой работы, не противная бородавка сидела\* у него на щеке, из нее рос пучок пепельных кошачьих волос. Кроме Караваяева, на экзамене присутствовал помощник попечителя Пятницкий, считавшийся важным лицом в гимназии и во всей губернии. Помощник попечителя спросил меня на экзамене о Петре Первом, я испытал тогда чувство забвения, чувство близости конца и бездны, сухой бездны, выложенной восторгом и отчаянием.

О Петре Великом я знал наизусть из книжки Пуцковича и стихи Пушкина. Я навзрыл сказал эти стихи, цветистые человечьи лица\* покатались вдруг в мои глаза и перемешались там, как карты из новой колоды. Они тасовались на дне моих глаз, и в эти

мгновения, дрожа, выпрямляясь, торопясь, я кричал пушкинские строфы изо всех сил. Я кричал их долго, никто не прерывал безумного моего визга, захлебывания\*, бормотания. Сквозь багровую слепоту, сквозь неистовую свободу, овладевшую мной, я видел только старое, склоненное лицо Пятницкого с посеребренной бородой. Он не прерывал меня и только сказал Караваяеву, ликовавшему за меня и за Пушкина:

— Какая нация, — прошептал старик, — жидки ваши, в них дьявол сидит...

longshoremen to beat Efrussi up, but mother talked him out of the idea, and I started studying for the second exam the following year, the one for the lowest class. Behind my back my people got the teacher to take me in one year through the preparatory and first-year course simultaneously, and conscious of the family's despair I got three whole books by heart. These were Smirnovsky's *Russian Grammar*, Yevtushevsky's *Problems*, and Putsykovich's *Manual of Early Russian History*. Children no longer cram from these books, but I learned them by heart line upon line, and the following year in the Russian exam Karavayev gave me an unrivalled A plus.

This Karavayev was a red-faced, irritable fellow, a graduate of Moscow University. He was hardly more than thirty. Crimson glowed in his manly cheeks as it does in the cheeks of peasant children. A wart sat perched on one cheek, and from it there sprouted a tuft of ash-coloured cat's whiskers. At the exam, besides Karavayev, there was the Assistant Curator Pyatnitsky, who was reckoned a big noise in the school and throughout the province. When the Assistant Curator asked me about Peter the Great, a feeling of complete oblivion came over me, an awareness that the end was near: an abyss seemed to yawn before me, an arid abyss lined with exultation and despair.

About Peter the Great I knew things by heart from Putsykovich's book and Pushkin's verses. Sobbing, I recited these verses, while the faces before me suddenly turned upside down, were shuffled as a pack of cards is shuffled. This card-shuffling went on, and meanwhile, shivering, jerking my back straight, galloping headlong, I was shouting Pushkin's stanzas at the top of my voice. On and on I yelled them, and no one broke into my crazy mouthings. Through a crimson blindness, through the sense of absolute freedom that had filled me, I was aware of nothing but Pyatnitsky's old face with its silver-touched beard bent toward me. He didn't interrupt me, and merely said to Karavayev, who was rejoicing for my sake and Pushkin's:

'What a people,' the old man whispered, 'those little Jews of yours! There's a devil in them!'

И когда я замолчал, он сказал:

— Хорошо, ступай, мой дружок...

Я вышел из класса в коридор и там, в коридоре, приклонившись к небеленой стене, стал просыпаться от судороги загнанных моих снов\*. Русские мальчики играли вокруг меня, гимназический колокол висел неподалеку над пролетом казенной лестницы, маленький сторож дремал на продавленном стуле. Я смотрел на сторожа и просыпался. Дети подбирались ко мне со всех сторон. Они хотели щелкнуть меня или просто поиграть, но в коридоре показался вдруг Пятницкий. Миновав меня, он приостановился на мгновение, и скруток трудной медленной волной пошел по его спине. Я увидел смятение на просторной этой, мясистой, барской спине и двинулся к старику.

— Дети, — сказал он тогда гимназистикам\*, — не трогайте этого мальчика, — и положил жирную, нежную руку на мое плечо.

— Дружок мой, — обернулся Пятницкий, помощник попечителя, — передай отцу, что ты принят в первый класс.

Пышная звезда блеснула у него на груди, ордена зазвенели у лапкана, и большое черное мундирное его тело стало уходить на прямых ногах. Оно стиснуто было сумрачными стенами, оно двигалось в них, как движется барка в глубоком канале, и исчезло в дверях директорского кабинета. Маленький служитель понес ему чай с торжественным шумом, а я побежал домой, в лавку.

В лавке нашей, полон сомнения, сидел и скребся мужик-покупатель. Увидев меня, отец бросил мужика и, не колеблясь, поверил моему рассказу. Он закричал подмастерью закрывать лавку и бросился на Соборную улицу покупать мне шапку с гербом. Белая мать едва отодрала меня от помешавшегося этого человека. Мать была бледна в ту минуту и испытывала судьбу. Она гладила меня и с отвращением отталкивала. Она сказала, что обо всех принятых в гимназию бывает объявление в газетах и что Бог нас покарает, и люди над нами посмеются, если мы купим форменную одежду раньше времени. Мать

And when at last I could shout no more, he said:  
'Very well, run along, my little friend.'

I went out from the classroom into the corridor, and there, leaning against a wall that needed a coat of whitewash, I began to awake from my trance. About me Russian boys were playing, the school bell hung not far away above the stairs, the caretaker was snoozing on a chair with a broken seat. I looked at the caretaker, and gradually woke up. Boys were creeping toward me from all sides. They wanted to give me a jab, or perhaps just have a game, but Pyatnitsky suddenly loomed up in the corridor. As he passed me he halted for a moment, the frock-coat flowing down his back in a slow heavy wave. I discerned embarrassment in that large, fleshy, upper-class back, and got closer to the old man.

'Children,' he said to the boys, 'don't touch this lad.' And he laid a fat hand tenderly on my shoulder.

'My little friend,' he went on, turning me toward him 'tell your father that you are admitted to the first class.'

On his chest a great star flashed, and decorations jingled in his lapel. His great black uniformed body started to move away on its stiff legs. Hemmed in by the shadowy walls, moving between them as a barge moves through a deep canal, it disappeared in the doorway of the headmaster's study. The little servingman took in a tray of tea, clinking solemnly, and I ran home to the shop.

In the shop a peasant customer, tortured by doubt, sat scratching himself. When he saw me my father stopped trying to help the peasant make up his mind, and without a moment's hesitation believed everything I had to say. Calling to the assistant to start shutting up shop, he dashed out into Cathedral Street to buy me a school cap with a badge on it. My poor mother had her work cut out getting me away from the crazy fellow. She was pale at that moment; she was experiencing destiny. She kept smoothing me, and pushing me away as though she hated me. She said there was always a notice in the paper about those who had been admitted to the school, and that God would punish us, and that folk would laugh at us if we bought a school cap too soon. My

была бледна, она испытывала судьбу в моих глазах и смотрела на меня с горькой жалостью, как на калечку, потому что одна она знала, как несчастлива наша семья.

Все мужчины в нашем роду были доверчивы к людям и скоры на необдуманные поступки, нам ни в чем не было счастья. Мой дед был раввином когда-то в Белой Церкви, его прогнали оттуда за кошунство, и он с шумом, очень скудно прожил еще сорок лет, изучал иностранные языки и стал сходить с ума на восьмидесятом году жизни. Дядька мой Лев, брат отца, учился в Воложинском ешиботе<sup>1</sup>, в 1892 году он бежал от солдатчины и похитил дочь интенданта, служившего в Киевском военном округе. Дядька Лев увез эту женщину в Калифорнию, в Лос-Анжелос<sup>2</sup>, бросил ее там и умер в дурном доме среди негров и малайцев. Американская полиция прислала нам после его смерти наследство из Лос-Анжелоса — большой сундук, окованный коричневыми железными обручами. В этом сундуке были гири от гимнастики, пряжи женских волос, деловский талес<sup>3</sup>, хлысты с золочеными набалдашниками и цветочный чай в шкапулках, отделанных дешевыми жемчугами. Из всей семьи оставались только безумный дядя Симон, живший в Одессе, мой отец и я. Но отец мой был невыразимо доверчив к людям, он обижал их восторгами своей первой любви, люди не прощали ему этого и обманывали. Отец верил поэтому, что жизнью его управляет

злая судьба, необъяснимое существо, преследующее его и во всем на него не похожее. И вот только один я оставался у моей матери изо всей нашей семьи. Как все евреи, я был мал ростом, хил и страдал от ученья головными болями. Все это видела Рахиль, моя мать, которая никогда не бывала ослеплена нищенской гордостью своего мужа и непонятной его верой в то, что древняя наша семья станет когда-нибудь сильнее и величественнее других людей на земле\*. Она не ждала для нас удачи, она не хотела новой форменной блузы и только позволила мне сняться у фотографа для большого портрета. И все же нам пришлось купить шапку с гербом.

Двадцатого сентября тысяча девятьсот пятого

mother was pale; she was experiencing destiny through my eyes. She looked at me with bitter compassion as one might look at a little cripple boy, because she alone knew what a family ours was for misfortunes.

All the men in our family were trusting by nature, and quick to ill-considered actions. We were unlucky in everything we undertook. My grandfather had been a rabbi somewhere in the Belaya Tserkov region. He had been thrown out for blasphemy, and for another forty years he lived noisily and sparsely, teaching foreign languages. In his eightieth year he started going off his head. My Uncle Leo, my father's brother, had studied at the Talmudic Academy in Volozhin. In 1892 he ran away to avoid doing military service, eloping with the daughter of someone serving in the commissariat in the Kiev military district. Uncle Leo took this woman to California, to Los Angeles, and there he abandoned her, and died in a house of ill-fame among Negroes and Malays. After his death the American police sent us a heritage from Los Angeles, a large trunk bound with brown iron hoops. In this trunk there were dumbbells, locks of women's hair, uncle's talith, horsewhips with gilt handles, scented tea in boxes trimmed with imitation pearls. Of all the family there remained only crazy Uncle Simon-Wolf, who lived in Odessa, my father, and I. But my father had faith in people, and he used to put them off with the transports of first love. People could not forgive him for this, and used to play him false. So my father believed that his life was guided by an evil fate, an inexplicable being that pursued him, a being in every respect unlike him. And so I alone of all our family was left to my mother. Like all Jews I was short, weakly, and had headaches from studying. My mother saw all this. She had never been dazzled by her husband's pauper pride, by his incomprehensible belief that our family would one day be richer and more powerful than all others on earth. She desired no success for us, was scared of buying a school jacket too soon, and all she would consent to was that I should have my photo taken.

On 20 September 1905 a list of those admitted to the first

года в гимназии вывешен был список поступивших в первый класс. В таблице упоминалось и мое имя. Вся родня наша ходила смотреть на эту бумажку, и даже Шойл, мой двоюродный дед, пришел в гимназию. Я любил хвастливого этого старика за то, что он торговал рыбой на рынке. Толстые его руки были всегда влажны, покрыты рыбьей чешуей и воняли холодными прекрасными мирами. Шойл отличался этим от обыкновенных людей и еще лживыми историями, которые он рассказывал о польском восстании 1861 года<sup>4</sup>. В давние времена Шойл был корчмарем в Сквире: он видел, как солдаты Николая Первого расстреливали графа Годлевского и других польских инсургентов. Может быть, он и не видел этого. Теперь-то я знаю, что Шойл был всего только старый неуч и наивный лгун, но побасенки его не забыты мной, они были очень хороши. И вот даже глупый Шойл пришел в гимназию прочитать таблицу с моим именем и вечером, не боясь никого, не боясь того, что никто в свете его не любит\*, плясал и топал на нашем нищем балу.

Отец устроил бал на радостях и позвал товарищей своих — торговцев зерном, маклеров по продаже имений и вояжеров, продававших в нашей округе сельскохозяйственные машины. Вояжеры эти пролавали машины всякому человеку. Мужики и поме-

щики боялись их, от них нельзя было отделаться, не купив чего-нибудь. Изю всех евреев вояжеры самые бывалые, веселые люди. На нашем вечере они пели хасидские песни<sup>5</sup>, состоявшие всего из трех слов, но певшиеся очень долго, со множеством смешных интонаций. Трогательную прелесть этих интонаций может узнать только тот, кому приходилось встречать Пасху у хасидов или кто бывал на Волыни в их шумных синагогах. Кроме вояжеров, к нам пришел старый Либерман<sup>6</sup>, обучавший меня Торе и древнееврейскому языку. Его называли у нас мосье Либерман. Он выпил бессарабского вина поболее, чем ему было надо, шелковые традиционные шнурки<sup>7</sup> вылезли из-под красной его жилетки, и он произнес на древнееврейском языке тост в мою честь. Старик поздравил родителей в этом тосте и сказал, что я победил на экзамене всех врагов моих, я победил русских мальчиков с толстыми щеками и сыновей грубых наших богачей. Так в древние времена Давид, царь Иудейский<sup>8</sup>, победил

class was hung up at the school. In the list my name figured too. All our kith and kin kept going to look at this paper, and even Shoyl, my grand-uncle, went along. I loved that boastful old man, for he sold fish at the market. His fat hands were moist, covered with fish-scales, and smelt of worlds chill and beautiful. Shoyl also differed from ordinary folk in the lying stories he used to tell about the Polish Rising of 1861. Years ago Shoyl had been a tavern-keeper at Skvira. He had seen Nicholas I's soldiers shooting Count Godlewski and other Polish insurgents. But perhaps he hadn't. *Now* I know that Shoyl was just an old ignoramus and a simple-minded liar, but his cock-and-bull stories I have never forgotten: they were good stories. Well now, even silly old Shoyl went along to the school to read the list with my name on it, and that evening he danced and pranced at our pauper ball.

My father got up the ball to celebrate my success, and asked all his pals — grain-dealers, real-estate brokers, and the travelling salesmen who sold agricultural machinery in our parts. These salesmen would sell a machine to anyone. Peasants and land-owners went in fear of them: you couldn't break loose without buying something or other. Of all Jews, salesmen are the widest-awake and the jolliest. At our party they sang Hasidic songs consisting of three words only but which took an awful long time to sing, songs performed with endless comical intonations. The beauty of these intonations may only be recognized by those who have had the good fortune to spend Passover with the Hasidim or who have visited their noisy Volhynian synagogues. Besides the salesmen, old Lieberman, who had taught me the Torah and ancient Hebrew honoured us with his presence. In our circle he was known as Monsieur Lieberman. He drank more Bessarabian wine than he should have. The ends of the traditional silk tassels poked out from beneath his waistcoat, and in ancient Hebrew he proposed my health. In this toast the old man congratulated my parents and said that I had vanquished all my foes in single combat: I had vanquished the Russian boys with their fat cheeks, and I had vanquished the sons of our own vulgar parvenus. So too in ancient times David King of Judah had

Голиафа, и подобно тому, как я восторжествовал над Голиафом, так несгибаемый наш народ\* силой своего ума победит врагов, окруживших нас и ждущих нашей крови. Мосье Либерман заплакал, сказав это, и плача, выпил еще вина и закричал: «Vivat!». Гости взяли его в круг и стали водить с ним старинную кадрили, как на свадьбе в еврейском местечке. Все были веселы на нашем балу, даже мать напилась пьяна\*, хоть она и не любила водки и не понимала, как можно любить ее, — всех русских она считала поэтому сумасшедшими и не понимала, как живут женщины с русскими мужьями.

Но счастливые наши дни наступили позже. Они наступили для матери тогда, когда она стала привыкать к счастью делания для меня бутербродов до ухода в гимназию и когда она ходила\* по лавкам и покупала елочное мое хозяйство — пенал, копилку, ранец, новые книги в бумажных переплетах и тетради в глянцевах обертках. Никто в мире не чувствует новых вещей сильнее, чем дети. Дети содрога-

ются от этого запаха, как собака от заячьего следа, и испытывают безумие, которое потом, когда мы станем взрослыми, называется вдохновением. И это чистое детское чувство собственности над вещами, пахнувшими нежной сыростью и прохладой новых вещей\*, передавалось матери. Мы месяц призывали к пеналу и к утреннему забываемому сумраку\*, когда я пил чай на краю большого освещенного стола и собирал книги в ранец, мы месяц призывали к счастливой нашей жизни, и только после первой четверти я вспомнил о голубях.

У меня все было припасено для них — рубль пятьдесят копеек и голубятня, сделанная из ящика делом Шойлом. Голубятня была выкрашена в коричневую краску. Она имела гнезда для двенадцати пар голубей, резные планочки на крыше и особую решетку, которую я придумал, чтобы удобнее было приманивать чужаков. Все было готово. В воскресенье двенадцатого октября я собрался на охотничью, но внезапные беды преградили мне путь\*.

История, о которой я рассказываю, то есть поступление мое в первый класс гимназии, происходила

overcome Goliath, and just as I had triumphed over Goliath, so too would our people by the strength of their intellect conquer the foes who had encircled us and were thirsting for our blood. Monsieur Lieberman started to weep as he said this, drank more wine as he wept, and shouted 'Vivat!' The guests formed a circle and danced an old-fashioned quadrille with him in the middle, just as at a wedding in a little Jewish town. Everyone was happy at our ball. Even mother took a sip of vodka, though she neither liked the stuff nor understood how anyone else could — because of this she considered all Russians cracked, and just couldn't imagine how women managed with Russian husbands.

But our happy days came later. For mother they came when of a morning, before I set off for school, she would start making me sandwiches; when we went shopping to buy my school things — pencil-box, money-box, satchel, new books in cardboard bindings, and exercise-books in shiny covers. No one in the world has a keener feeling for new things than children have. Children shudder at the smell of newness as a dog does when it scents a hare, experiencing the madness which later, when we grow up, is called inspiration. And mother acquired this pure and childish sense of the ownership of new things. It took us a whole month to get used to the pencil-box, to the morning twilight as I drank my tea on the corner of the large, brightly-lit table and packed my books in my satchel. It took us a month to grow accustomed to our happiness, and it was only after the first half-term that I remembered about the pigeons.

I had everything ready for them: one rouble fifty and a dovecot made from a box by Grandfather Shoyl as we called him. The dovecot was painted brown. It had nests for twelve pairs of pigeons, carved strips on the roof, and a special grating that I had devised to facilitate the capture of strange birds. All was in readiness. On Sunday, 20 October, I set out for the bird market, but unexpected obstacles arose in my path.

The events I am relating, that is to say my admission to the first class at the secondary school, occurred in the autumn of

осенью тысяча девятьсот пятого года. Царь Николай давал тогда конституцию русскому народу, ораторы в худых пальто взгромождались на тумбы у здания городской думы и говорили речи народу. На улицах по ночам раздавалась стрельба, и мать не хотела отпускать меня на охотничью. С утра в день двадцатого октября соседские мальчики пускали змей против самого полицейского участка, и воловоз наш, забросивший все дела, ходил по Рыбной улице напояженный, с красным лицом. Потом мы увидели, как сыновья булочника Калистова вытащили на улицу кожаную кобылу и стали делать гимнастику посреди мостовой. Им никто не мешал, городской Семерников подзадоривал их даже прыгать повыше. Семерников был подпоясан шелковым домотканым пояском, и сапоги его были начищены в этот день так блестяще, как никогда не бывали они начищены раньше. Городовой, одетый не по форме, больше всех ис-

пугал мою мать, из-за него она не отпускала меня, но я пробрался на улицу задворками и добежал до охотничьей, которая помещалась далеко за вокзалом.

На охотничьей, на постоянном своем месте, сидел Иван Никодимыч, голубятник. Кроме голубей, он продавал еще кроликов и павлина. Павлин, распутив сияющий хвост, сидел на жердочке и поводил по сторонам бесстрастной прелестной головкой. Лапа его была обвязана крученой веревкой, другой конец веревки лежал прищемленный Ивана Никодимыча плетеным стулом. Я купил у старика, как только пришел, пару вишневых голубей с затрепанными пышными хвостами и пару чубатых и спрятал их в мешок за пазуху. У меня оставалось сорок копеек после покупки, но старик за эту цену не хотел отдать голубя и голубку крюковской породы. У крюковских голубей я любил их клювы, короткие, зернистые, дружелюбные. Сорок копеек была им верная цена, но охотник дорожился и отворачивал от меня желтое лицо, сожженное нелюдими страстями птицелова. К концу торга, видя, что не находится других покупателей, Иван Никодимыч подозвал меня. Все вышло по-моему, все вышло худо.

1905. The Emperor Nicholas was then bestowing a constitution on the Russian people. Orators in shabby overcoats were clambering on to tall kerbstones and haranguing the people. At night shots had been heard in the streets, and so mother didn't want me to go to the bird market. From early morning on 20 October the boys next door were flying a kite right by the police station, and our water-carrier, abandoning all his buckets, was walking about the streets with a red face and brilliantined hair. Then we saw baker Kalistov's sons drag a leather vaulting-horse out into the street and start doing gym in the middle of the roadway. No one tried to stop them: Semernikov the policeman even kept inciting them to jump higher. Semernikov was girt with a silk belt his wife had made him, and his boots had been polished that day as they had never been polished before. Out of his customary uniform, the policeman frightened my mother more than anything else. Because of him she didn't want me to go out, but I sneaked out by the back way and ran to the bird market, which in our town was behind the station.

At the bird market Ivan Nikodimych, the pigeon-fancier, sat in his customary place. Apart from pigeons, he had rabbits for sale too, and a peacock. The peacock, spreading its tail, sat on a perch moving a passionless head from side to side. To its paw was tied a twisted cord, and the other end of the cord was caught beneath one leg of Ivan Nikodimych's wicker-chair. The moment I got there I bought from the old man a pair of cherry-coloured pigeons with luscious tousled tails, and a pair of crowned pigeons, and put them away in a bag on my chest under my shirt. After these purchases I had only forty kopecks left, and for this price the old man was not prepared to let me have a male and female pigeon of the Kryukov breed. What I liked about Kryukov pigeons was their short, knobby, good-natured beaks. Forty kopecks was the proper price, but the fancier insisted on haggling, averting from me a yellow face scorched by the unsociable passions of bird-snarers. At the end of our bargaining, seeing that there were no other customers, Ivan Nikodimych beckoned me closer. All went as I wished, and all went badly.

В двенадцатом часу дня или немногим позже по площади прошел человек в валеных сапогах. Он легко шел на раздутых ногах, в его истертом лице горели оживленные глаза.

— Иван Никодимыч, — сказал он, проходя мимо охотника, — складайте инструмент, в городе иерусалимские дворяне конституцию получают. На Рыбной бабелевского деда насмерть угостили...

Он сказал это и легко пошел между клетками, как босой пахарь, идущий по меже.

— Напрасно, — пробормотал Иван Никодимыч ему вслед, — напрасно, — закричал он строже и стал собирать кроликов и павлина и сунул мне крюковских голубей за сорок копеек. Я спрятал их за пазуху и стал смотреть, как разбегаются люди с охотничьей. Павлин на плече Ивана Никодимыча уходил последним. Он сидел, как солнце в сыром осеннем не-

бе, он сидел, как сидит июль на розовом берегу реки, раскаленный июль в длинной холодной траве. Я смотрел вслед старику, его сапожному стулу и милым клеткам, завернутым в цветное тряпье\*. На рынке никого уже не было, и выстрелы гремели неподалеку. Тогда я побежал к вокзалу, пересек сквер, сразу опрокинувшийся\*, и влетел в пустынный переулок, утоптаный желтой землей. В конце переулочка, на креслице с колесиками, сидел безногий Макаренко, ездивший в креслице по городу и продававший папиросы с лотка. Мальчики с нашей улицы покупали у него папиросы, дети любили его, и я бросился к нему в переулок.

— Макаренко, — сказал я, задыхаясь от бега, и погладил плечо безногого, — не видал ли ты деда моего Шойла?

Но калека не ответил. Грубое его лицо, составленное из красного жира, из кулаков, из железа, просвечивало. Он в ужасном волнении ерзал на креслице, и жена его Катюша, повернувшись ваточным задом, разбирала вещи, валявшиеся на земле.

— Чего насчитала? — спросил безногий и двинулся от женщины всем корпусом, как будто ему наперед невыносим был ее ответ.

— Камашей четырнадцать штук, — сказала Катюша, не разгибаясь, — пододеяльников шесть, теперя чепцы рассчитываю...

— Чепцы! — закричал Макаренко, задохся и сле-

Toward twelve o'clock, or perhaps a bit later, a man in felt boots passed across the square. He was stepping lightly on swollen feet, and in his worn-out face lively eyes glittered.

'Ivan Nikodimych,' he said as he walked past the bird-fancier, 'pack up your gear. In town the Jerusalem aristocrats are being granted a constitution. On Fish Street Grandfather Babel has been constituted to death.'

He said this and walked lightly on between the cages like a barefoot ploughman walking along the edge of a field.

'They shouldn't,' murmured Ivan Nikodimych in his wake. 'They shouldn't!' he cried more sternly. He started collecting his rabbits and his peacock, and shoved the Kryukov pigeons at me for forty kopecks. I hid them in my bosom and watched the people running away from the bird market. The peacock on Ivan Nikodimych's shoulder was last of all to depart. It sat there like the sun in a raw autumnal sky; it sat as July sits on a pink riverbank, a white-hot July in the long cool grass. No one was left in the market, and not far off shots were rattling. Then I ran to the station, cut across a square that had gone topsy-turvy, and flew down an empty lane of trampled yellow earth. At the end of the lane, in a little wheeled arm-chair, sat the legless Makarenko, who rode about town in his wheel-chair selling cigarettes from a tray. The boys in our street used to buy smokes from him, children loved him, I dashed toward him down the lane.

'Makarenko,' I gasped, panting from my run, and I stroked the legless one's shoulder, 'have you seen Shoyl?'

The cripple did not reply. A light seemed to be shining through his coarse face built up of red fat, clenched fists, chunks of iron. He was fidgeting on his chair in his excitement, while his wife Kate, presenting a wadded behind, was sorting out some things scattered on the ground.

'How far have you counted?' asked the legless man, and moved his whole bulk away from the woman, as though aware in advance that her answer would be unbearable.

'Fourteen pairs of leggings,' said Kate, still bending over, 'six undershects. Now I'm a-counting the bonnets.'

'Bonnets!' cried Makarenko, with a choking sound like



лал такой звук, как будто он рыдает, — видно меня, Катерина, Бог сыскал, что я за всех ответить должен... Люди полотно целыми штуками носят, у людей все, как у людей, а у нас чепцы...

И, в самом деле, по переулку пробежала женщина с распалившимся прекрасным\* лицом. Она держала охапку фесок в одной руке и штуку сукна в другой. Счастливым отчаянным голосом сзывала она потерявшихся детей; шелковое платье и голубая кофта волочились за летящим ее телом, и она не слушала Макаренку, катившего за ней на кресле. Безногий не

поспевал за ней, колеса его гремели, он вертел рычажки и все не поспевал.

— Мадамочка, — оглушительно кричал он. — ради Бога, мадамочка, где брали сарпинку?

Но женщины с летящим платьем уже не было. Ей навстречу из-за угла выскочила вихлявая телега. Крестьянский парень стоял стоймя в телеге.

— Куда люди побегли? — спросил парень и поднял красную вожжу над клячами, прыгавшими в хомутах.

— Люди все на Соборной, — умоляюще сказал Макаренко, — там все люди, душа-человек; чего наберешь, — все мне тащи, все покупаю...

Но парень, услышав про Соборную, не стал мешкаг\*. Он изогнулся над передком, хлестнул по пегим клячам. Лошади, как телята, прыгнули грязными своими крупами и пустились вскачь. Желтый переулок снова остался желт и пустынен, тогда безногий перевел на меня погасшие глаза.

— Меня што ль Бог сыскал, — сказал он безжизненно, — я вам што ль сын человеческий...

И Макаренко протянул мне руку, запятнанную апоплексической проказой.

— Чего у тебя в торбе? — сказал он и взял мешок, согревавший мое сердце.

Толстой рукой разворошил калека турманов и вытащил на свет вишневою голубку. Запрокинув лапки, птица лежала у него на ладони.

— Голуби, — сказал Макаренко и, скрипя колесами, подъехал ко мне. — голуби. — повторил он, как неотвратимое эхо\*, и ударил меня по щеке.

a sob; 'it's clear, Catherine, that God has picked on me, that I must answer for all. People are carting off whole rolls of cloth, people have everything they should, and we're stuck with bonnets.'

And indeed a woman with a beautiful burning face ran past us down the lane. She was clutching an armful of fezzes in one arm and a piece of cloth in the other, and in a voice of joyful despair she was yelling for her children, who had strayed. A silk dress and a blue blouse fluttered after her as she flew, and she paid no attention to Makarenko, who was rolling his chair in pursuit of her. The legless man couldn't catch up. His wheels clattered as he turned the handles for all he was worth.

'Little lady,' he cried in a deafening voice, 'where did you get that striped stuff?'

But the woman with the fluttering dress was gone. Round the corner to meet her leaped a rickety cart in which a peasant lad stood upright.

'Where've they all run to?' asked the lad, raising a red rein above the nags jerking in their collars.

'Everybody's on Cathedral Street,' said Makarenko pleadingly, 'everybody's there, sonny. Anything you happen to pick up, bring it along to me. I'll give you a good price.'

The lad bent down over the front of the cart and whipped up his piebald nags. Tossing their filthy croups like calves, the horses shot off at a gallop. The yellow lane was once more yellow and empty. Then the legless man turned his quenched eyes upon me.

'God's picked on me, I reckon,' he said lifelessly; 'I'm a son of man, I reckon.'

And he stretched a hand spotted with leprosy toward me.

'What's that you've got in your sack?' he demanded, and took the bag that had been warming my heart.

With his fat hand the cripple fumbled among the tumbler pigeons and dragged to light a cherry-coloured she-bird. Jerking back its feet, the bird lay still on his palm.

'Pigeons,' said Makarenko, and squeaking his wheels he rode right up to me. 'Damned pigeons,' he repeated, and struck me on the cheek.

Он ударил меня наотмашь, сжатой ладонью, голубка треснула на моем виске\*, Катюшин ваточный зад повернулся в моих зрачках, и я упал на землю в новой шинели.

— Семя ихнее разорить надо, — сказала тогда Катюша и разогнулась над чепцами, — семя ихнее я не могу навидеть и мужчин их вонючих...

Она еще сказала о нашем семени, но я ничего не

слышал больше. Я лежал на земле, и внутренности раздавленной птицы стекали с моего виска. Они текли вдоль щек, извиваясь, брызгая и ослепляя меня. Голубиная нежная кишка ползла по моему лбу, и я закрывал последний незалепленный глаз, чтобы не видеть мира, расстилавшегося передо мной. Мир этот был мал и ужасен. Камешек лежал перед моим глазом, камешек, выщербленный, как лицо старухи с большой челюстью, обрывок бечевки валялся неподалеку и пучок перьев, еще дышавших. Мир мой был мал и ужасен. Я закрыл глаза, чтобы не видеть его, и прижался к земле, лежавшей подо мной в успокоительной немоте. Утоптанная эта земля ни в чем не была похожа на нашу жизнь и на ожидание экзаменов в нашей жизни. Где-то далеко по ней ездил беда на хромой и бодрой\* лошади, но шум копыт слабел, пропадал, и тишина, горькая тишина, поражающая иногда детей в несчастье, истребила вдруг границу между трепещущим моим телом и никуда не двигавшейся землей. Земля моя пахла сырими недрами, могилкой и цветами. Я услышал ее запах и заплакал без всякого страха. Я шел по чужой улице, заставленной белыми коробками, я шел в убранстве из окровавленных перьев, один в середине тротуаров, подметенных чисто, как в воскресенье, и плакал так горько, полно и счастливо, как не плакал больше во всю мою жизнь. Побелевшие провода гудели над головой, суетливая дворняжка бежала впереди и в переулке сбоку молодой мужик в жилетке разбивал раму в доме Харитона Эфрусси. Он разбивал ее деревянным молотом, замахивался всем телом и, вздыхая, улыбался на все стороны доброй улыбкой опьянения, пота и душевной силы. Вся улица была наполнена хрустом, треском, пением разлетающегося дерева. Мужик бил только затем, чтобы перегибаться. Запоевать и кричать необыкновенные слова на неведомом, нерусском языке. Он кричал их и пел, раздирали изнутри голубые глаза, пока на улице не показался крестный ход, шедший от думы. Старики с крашеными бородами несли в руках портрет расчесанного

He dealt me a flying blow with the hand that was clutching the bird. Kate's wadded back seemed to turn upside down, and I fell to the ground in my new overcoat.

'Their spawn must be wiped out,' said Kate, straightening up over the bonnets. 'I can't a-bear their spawn, nor their stinking menfolk.'

She said more things about our spawn, but I heard nothing of it. I lay on the ground, and the guts of the crushed bird trickled down from my temple. They flowed down my cheek, winding this way and that, splashing, blinding me. The tender pigeon-guts slid down over my forehead, and I closed my solitary unstopped-up eye so as not to see the world that spread out before me. This world was tiny, and it was awful. A stone lay just before my eyes, a little stone so chipped as to resemble the face of an old woman with a large jaw. A piece of string lay not far away, and a bunch of feathers that still breathed. My world was tiny, and it was awful. I closed my eyes so as not to see it, and pressed myself tight into the ground that lay beneath me in soothing dumbness. This trampled earth in no way resembled real life, waiting for exams in real life. Somewhere far away Woe rode across it on a great steed, but the noise of the hoofbeats grew weaker and died away, and silence, the bitter silence that sometimes overwhelms children in their sorrow, suddenly deleted the boundary between my body and the earth that was moving nowhither. The earth smelled of raw depths, of the tomb, of flowers. I smelled its smell and started crying, unafraid. I was walking along an unknown street set on either side with white boxes, walking in a get-up of bloodstained feathers, alone between the pavements swept clean as on Sunday, weeping bitterly, fully and happily as I never wept again in all my life. Wires that had grown white hummed above my head, a watchdog trotted on in front, in the lane on one side a young peasant in a waistcoat was smashing a window-frame in the house of Khariton Efrussi. He was smashing it with a wooden mallet, striking out with his whole body. Sighing, he smiled all around with the amiable grin of drunkenness, sweat, and spiritual power. The whole street was filled with

царя, хоругви с гробовыми угодниками метались на крестным ходом, и воспламененные старухи летели вперед неудержимо. Мужик в жилетке, увидев шествие, прижал молоток к груди и побежал за хоругвями, а я, выждав конца процессии, пробрался к нашему дому. Он был пуст, наш дом. Белые двери его были раскрыты, трава у голубятни вытоптана. Один Кузьма не ушел со двора. Кузьма, дворник, сидел в сарае на трупе Шойла и убирал мертвеца\*.

— Ветер тебя носит, как дурную шепку. — сказал старик, увидев меня. — побег на целые веки... Тут народ деда нашего, вишь, как тюкнули\*...

Кузьма засопел, отвернулся и стал вынимать у деда из прорехи штанов сулака. Их было два сулака всунуты в дела: один в прореху штанов, другой в рот, и хоть дед был мертв, но один сулак жил еще и содрогался.

— Дела нашего тюкнули, никого больше. — сказал Кузьма, выбрасывая судаков кошке. — он весь народ из матери в мать погнал, изматерил дочиста, такой славный... Ты бы ему пятаков на глаза нанес... Но тогда, десяти лет от роду, я не знал, зачем бьют надобны пятаки мертвым людям.

— Кузьма. — сказал я шепотом. — спаси нас... И я подошел к дворнику, обнял его старую кривую спину с одним поднятым плечом и увидел деда из-за милой этой спины. Шойл лежал в опилках, с разлавленной грудью, с вздернутой боролой в грубых башмаках, одетых на босу ногу. Ноги его, положенные врозь, были грязны, лиловы, мертвы. Кузьма хлопотал вокруг них, потом он подвязал челюсти и все примеривался, чего бы ему еще сделать с покойником. Он хлопотал, как будто у него в лому была обновка, и поостыл, только расчесав бороду мертвецу.

a splitting, a snapping, the song of flying wood. The whole existence consisted in bending over, sweating queer words in some unknown, non-Russian language; he shouted the words and sang, shot out his blue eyes; street there appeared a procession bearing the portrait of the neatly-combed Tsar, banners with the portrait of the neatly-combed Tsar, banners with yard saints swayed above their heads, inflamed old flew on in front. Seeing the procession, the peasant his mallet to his chest and dashed off in pursuit of the while I, waiting till the tail-end of the procession had made my furtive way home. The house was empty, doors were open, the grass by the dovecot had been down. Only Kuzma was still in the yard. Kuzma the was sitting in the shed laying out the dead Shoyl.

'The wind bears you about like an evil wood-cut the old man when he saw me. 'You've been away a long time now look what they've done to granddad.'

Kuzma wheezed, turned away from me, and started a fish out of a rent in grandfather's trousers. Two pence had been stuck into grandfather: one into the rent in his trousers, the other into his mouth. And while grandfather was dead, one of the fish was still alive, and struggling.

'They've done grandfather in, but nobody else. Kuzma, tossing the fish to the cat. 'He cursed them and proper, a wonderful damning and blasting it would might fetch a couple of pennies to put on his eyes.'

But then, at ten years of age, I didn't know what the dead had of pennies.

'Kuzma,' I whispered, 'save us.'

And I went over to the yardman, hugged his crook back with its one shoulder higher than the other, at this back I saw grandfather. Shoyl lay in the sawdust chest squashed in, his beard twisted upwards, battered on his bare feet. His feet, thrown wide apart, were lilac-coloured, dead. Kuzma was fussing over him. I looked at the dead man's jaws and kept glancing over the body what else he could do. He fussed as though over a

— Всех изматерил, — сказал он, улыбаясь, и оглянул труп с любовью. — кабы ему татары попались, он татар погнал бы, но тут русские полонили, и женщины с ними, кацапки: кацапам людей прощать обидно, я кацапов знаю...

Дворник подсыпал покойнику опилков, сбросил плотницкий передник и взял меня за руку.

— Идем к отцу, — пробормотал он, сжимая меня все крепче, — отец твой с утра тебя ищет, как бы не помер...

И вместе с Кузьмой мы пошли к дому податного инспектора, где спрятались мои родители, убежавшие от погрома.

purchased garment, and only cooled down when he had given the dead man's beard a good combing.

'He cursed the lot of 'em right and left,' he said, smiling, and cast a loving look over the corpse. 'If Tartars had crossed his path he'd have sent them packing, but Russians came, and their women with them, Rooski women. Russians just can't bring themselves to forgive, I know what Rooskis are.'

The yardman spread some more sawdust beneath the body, threw off his carpenter's apron, and took me by the hand.

'Let's go to father,' he mumbled, squeezing my hand tighter and tighter. 'Your father has been searching for you since morning, sure as fate you was dead.'

And so with Kuzma I went to the house of the tax-inspector, where my parents, escaping the pogrom, had sought refuge.

1925